

**ЛИЧНЫЙ ДНЕВНИК В.Н. АНТОНОВА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ  
ИСТОЧНИК: К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
ИНТЕЛЛИГЕНТСКИХ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ**

*Р.С. Черепанова*

Статья затрагивает проблемы качественных особенностей автобиографических текстов, рожденных в кругу интеллигенции. Материалом для размышлений служит хранящийся в архиве Института Исследований Восточной Европы при Университете Бремена дневник и художественные сочинения В.Н. Антонова, непризнанного поэта, относящиеся к 1960 – началу 1980-х гг.

Ключевые слова: биография, аутофикшн, интеллигенция, ди-курс.

Каждый раз, когда я как историк открываю в архиве чей-то личный дневник, мне приходится гнать от себя нравственные сомнения на предмет того, имею ли я право погружаться в такие сокровенные глубины чужой личности. Я напоминаю себе, что чаще всего человек, чей дневник я держу в руках, уже умер, и значит, не понесет от моего проникновения в его мир никаких моральных потерь; я убеждаю себя, что если бы автор сам не хотел прочтения потомками своих записок, он бы уничтожил их или оставил подобное распоряжение своим наследникам; наконец, я напоминаю себе о массе примеров того, как люди известные и неизвестные сами издают свои дневники для публичного прочтения или завещают издать их после своей смерти, потому что хотят быть услышанными во всей своей индивидуальности и субъективности, остаться в режиме хотя бы виртуального бессмертия, дабы вечно пребывать в пространстве интертекстуальности, где ничто никогда не исчезает насовсем и только время от времени востре-

буется и актуализируется. Иначе говоря, человек, оставляя потомкам дневник, приобретает жизнь вечную в качестве текста, и здесь уже нет места обывательскому смущению от публичного самообнажения. Поэтому читать личные дневники следует без всякого чувства неловкости и исходя из того, что важна в них не столько фактическая сторона (и уж тем более не достоверность описываемых событий), а запечатленный образ автора, его саморепрезентация, которую вполне можно обсуждать и анализировать. Итак: если к автору-как-человеку нужно сохранять дистанцию простого человеческого уважения, то к автору-как-репрезентации можно и нужно относиться критически, как к любому «вымышленному», сконструированному, «литературному», персонажу.

В данной статье речь пойдет о документе из архива Института Исследований Восточной Европы при Университете Бремена (Германия). Бережно собираемый усилиями многих сотрудников, в особенности стараниями и связями Габриэля Суперфина, которому я чрезвычайно признательна за помощь и поддержку, бременский архив содержит замечательную коллекцию материалов по истории советского общества, от самиздатовских журналов до дневников и писем, от самых известных имен до самых простых. К сожалению, в тот момент, когда мне довелось работать в этом архиве, некоторые фонды не были полностью описаны (отсутствовала, например, разбивка на дела и нумерация листов). Это относилось и к фонду 164/1 (коробка 1), в котором находится личный Дневник Вадима Николаевича Антонова (1942–1995). Поэтому мне придется при цитировании этого текста давать ссылки на дату, под которой сделана та или иная запись, и на внешнее описание тетради.

Мне не удалось найти информацию о том, как, когда и через кого дневники, фотографии, письма и отдельные сочинения Вадима Антонова попали в Бремен. Из скурых данных описи и из самого текста дневника можно понять, что наш автор принадлежал к массовому слою московской интеллигенции: его мать получила высшее образование, отец – незаконченное среднее, семейное окружение составляли такие же «среднестатистические» московские интеллигенты, врачи, педагоги, художники. Сам Вадим Антонов какое-то время учился в Литературном институте, и тогда же, в молодости, начал вести дневник. Первая дошедшая до нас дневниковая запись датирована 26 (7) ноября 1966 года и описывает визит двадцатипятилетнего автора вместе с другим молодым поэтом, неким Алешей, к Владимиру Иосифовичу Глоцеру. Известный литературовед, работавший в свое время секретарем у Корнея Чуковского и Самуила Маршака, всегда активно опекавший молодые таланты, вызывает у Вадима и Алексея восторженный экстаз. Перечисляя темы, на которые Глоцер разговаривал с ними, Антонов упивается престижностью и высокой интеллигентской статусностью этих тем: Солженицын, «проститутка Курина», «лагеря, стукачи, Белочка

Ахмадуллину». Характерно, что Ахмадулину Антонов, не будучи с ней лично знаком, называет интимно «Белочкой» – это тоже типичный интеллигентский «код» распознавания «своих» от «чужих». Вдохновленные беседой с Глоцером, молодые поэты отправляются до рассвета гулять по Москве и беседовать о поэзии. Алеша с пятнадцати лет считает себя гением, с легкой ноткой критичности отмечает Антонов. О собственных амбициях он предпочитает умолчать, упоминая лишь о том, что пишет дневники для того, чтобы потом по ним написать мемуары: «Так что по возможности <надо> записывать все».

Эту наивно-восторженную дневниковую запись отделяет от следующей целых семнадцать лет. За эти годы многое произошло с нашим героем. Он успел побывать в тюрьме, принял нелегкое решение перестать пить, побывал в психиатрической больнице, получил там крайне серьезный диагноз, соответственно, и инвалидность, и пенсию. Все эти перемены он совсем не спешит связно изложить на бумаге. Скупое, частично и явно не вполне откровенно он будет проговариваться об этих обстоятельствах своей жизни в последующих тетрадях и записных книжках.

Итак, следующая по хронологии тетрадь представляет собой сложенные пополам и сшитые посередине машинописные листы формата А4. Впоследствии автор станет вести записи в карманных блокнотах, записывая подчас в электричке, на коленях, впопыхах, и его и без того неидеальный почерк станет совсем трудноразбираемым. Кроме того, безусловно положительный эффект от лечения по прошествии времени неизбежно будет снижаться, и записи Антонова станут значительно более многословными и менее связными. Он начнет повторяться, бесконечно растягивать детали и практически одновременно и параллельно жить и описывать переживаемое. Но машинописная тетрадь и первые несколько записных книжек выглядят вполне пригодными для анализа и даже вполне типическими для разговора о советской интеллигенции – несмотря на психиатрический диагноз автора, а может быть, даже и благодаря ему. Здесь уместно вспомнить, что как реальное «безумие», так и игра в него относятся к самым распространенным метафорам в дискурсе русской интеллигенции, восходя еще к А. Радищеву и П. Чаадаеву [1].

Антонов начинает свой дневник 1983 года подчеркнуто бытовыми деталями: описанием своих прогулок (надо следить за здоровьем и гулять каждый день), с ремонта, который он затеял в своей небольшой квартирке, с подробностями переговоров с нетрезвыми «работягами», с рутинными походами в поликлинику и долгими очередями на ВТЭК. Автор описывает эти моменты с наслаждением человека, отрезвляющегося после тяжелого похмелья и выстрадавшего возвращающегося к нормальной жизни. Его комментарии в отношении телевизионных программ и художественных фильмов оригинальны и не лишены пронизательности. Он чистоплотен и «ру-

каст». Его тревожит здоровье отца. Поселившийся в Электростали, он постоянно ездит на электричке к родителям в Москву. Он гордится отменным эстетическим вкусом своей матери, к которой вообще особенно привязан. По распространенной интеллигентской практике, мать, в частности, попросила его встретить и «поводить» по Москве дочь своей кишиневской подруги. Антонов описывает несколько любопытных для историка повседневности моментов из этих совместных поездок с молодой женщиной Светой по Москве. Они вместе обедают в ресторанах, стоят в очередях, совершенно без стеснения приобретая Свете кофточку, «бежевый бюстгальтер» и серьги, на вкус автора, «совершенно колхозные» – этакая легкая дань столичному снобизму. Антонов не преминул также подчеркнуть провинциализм и мещанство Светы, которая испугалась его привычки всюду ездить на такси. Зато Антонов в этой приверженности к поездкам на такси демонстрирует характерное интеллигентское «бессеребренничество». Зарплата юриста Светы, думается, более соответствовала роскошному образу жизни, чем пенсия по инвалидности, на которую существовал Антонов. Но именно поэтому Света ведет себя как провинциалка и мещанка, а Антонов – как безупречный интеллигент. Антонов фиксирует, насколько старательно Света старается держаться «своей» в кругу столичной интеллигенции: «Света приятная, воспитанная девочка. Держится просто, за столом внимательна, – несколько раз подавала мне тарелку с хлебом, так что пришлось все есть с хлебом. Сразу после обеда взялась сама мыть посуду». Но именно эта старательность и скучный прагматизм выдают в ней мещанку: «Вчера, всякий раз когда я останавливал машину, она старалась утащить меня на автобус или метро. Вчера я принимал это просто за стеснительность, а сегодня после такой закатанной сцены, это можно было уже понимать, как то, что Света не хочет слишком задалживаться <...> ее провинциальная расчетливость просто от другого жизненного уклада <...> Как только я сказал ей, что не люблю, когда со мной так разговаривают, она поняла, что дала маху. Весь остальной день была ласковой и предупредительной. В метро еще раз попросила прощения, назвала себя деревенней...». И наконец: «Дал почитать маме место из дневника, где я писал о Свете. Мама сказала, что я себя вел правильно» (Машинописная тетрадь, записи от 17 и 20 марта 1983 г., здесь и далее сохранены авторская орфография и пунктуация).

Эта «правильная», неспешная жизнь в маленьком городе, вблизи лесов и полей, где можно подолгу гулять, жизнь с внутренним самоощущением Пушкина («Безумных лет угасшее веселье...») или Ахматовой (Я научилась просто, мудро жить...»), осуществившаяся в немалой степени благодаря приобретенному статусу инвалида (с возможностью официально не работать, получая от государства материальное обеспечение) приближает Вадима Антонова к благородной дворянской праздности и приносит ему

настоящее интеллигентское счастье: возможность сосредоточиться на творчестве, уйти от настоящих страстей к вымышленным. Настоящие страсти, как мы помним, довели нашего героя до тюрьмы и «психушки». Теперь он понимает, что, чтобы чувствовать себя не одиноким, вполне достаточно одного близкого, понимающего человека – матери, с которой можно говорить обо всем: «Посудачили о моих бабах. Очень ей хочется чтобы у меня была женщина и которая бы мне нравилась, и которая бы меня понимала. Бедненькая моя, любимая моя мамочка! Я только сейчас-то и вздохнул полной грудью. Из сорока лет жизни эти три месяца только и есть для меня по-настоящему счастливы, потому что освободился я наконец от всех любовей». Счастье как освобождение от семьи и необходимости работать ради куска хлеба – формула, очень знакомая в истории русской интеллигенции. «Наконец-то я по-настоящему свободен, – констатирует Антонов. – Один! У меня есть свой дом, у меня есть любимая работа, в которой я тоже беспредельно свободен»; «У меня есть любимые родители, а значит и столь необходимые каждому человеку, приносящие так много радости, обязанности. У меня есть сознание того, что где-то там живет мой взрослый сын, независимый от моих родительских претензий и обременяющей признательности – у меня есть все» (запись от 19 апреля 1983 г.). Ради этого бесценного состояния стоило претерпеть и тюрьму, и «психушку»: «Все справедливо. И то, что я два раза был в лагере, и один раз на принудке просто, и один раз на «спецу» – все справедливо. Я лез туда, куда нельзя, брал то, что не заработал – (ни в чем не раскаиваюсь, потому что жил так, как хотел, и за все расплатился полностью) – но я всегда знал, что доведись мне за это платить, это будет справедливо».

Тем не менее, в дневниках признавая справедливость своих тюремных «ходок», в своих художественных произведениях автор следует классическому интеллигентскому (или «блатному»? в советское время эти субкультуры стремительно сближались) шаблону «невинного претерпевания» честного, бесхитростного человека (архетип «Христа») по вине государственных «сатрапов», неверных женщин и друзей-предателей.

«В том году не по своей вине

Я смотрел на край пустого неба

Сквозь стальные прутья на окне...» (рассказ «Экспертиза»).

Эта параллель с Христом встречается у Антонова неоднократно:

«Крестил меня тюремный командир

Тяжелую резиновой дубинкою» (стихотворение «Креститель»).

Поводом к одной «отсидке» стала, очевидно, бытовая пьяная драка, к другим – хулиганство, а возможно, и мелкое мошенничество. Но сравним два разных описания одного и того же тюремно-больничного опыта:

«Сегодня у меня еще один юбилей – ровно три года, как я принял последний стакан водки. После того, как меня привезли в милицию и поса-

дили в КПЗ, снова начались похмельные страдания. С собой у меня было 25 руб. денег, которые я пронес в носке. В камере, кроме меня, было еще трое. Молодой бычок допризывного возраста, Толя – деревенский парень, весь в наколках, изображающий из себя вора, и приבלатненный тихий старикашка. Когда я сказал, что у меня есть деньги, этот мужикашечка постучал в кормушку и стал о чем-то шептаться с дежурным старшиной. Оказывается, он договорился с ним насчет водки – старшина менялся, и обещал в следующее дежурство, т.е. 6-го числа, принести бутылку водки за 20 руб. Два дня, 4-го и 5-го, я ни на минуту не присел на нары. Задыхаясь, ходил из угла в угол и, как ни пытался сдерживаться, время от времени постанывал. Сердце останавливалось, все тело покрылось липким молозивом, омертвевшие волосы превратились в склеившиеся сосульки. Сокамерники сочувственно прятали глаза. Вот тогда-то я и дал себе слово, что стакан, который я выпью, будет последним. 6-го апреля 1980 года, ночью, старшина принес бутылку водки и 5 руб. сдачи. Из этой бутылки ему налили больше половины стакана, а остальное мы выпили на троих. Для того, чтобы поправиться доза была маленькой, но ее хватило, чтобы я на время забылся. А утром меня повезли в ногинскую тюрьму. Там меня почему-то не приняли и направили в Бутырку. Вместе со мной ехал молодой убийца, которого должны были завести в криминалистическую лабораторию... Лаборатория находилась возле НИИ МОНИКИ, а где эти МОНИКИ наша провинциальная милиция не знала. Пришлось показывать ей дорогу. За эту услугу мне разрешили позвонить домой моим родителям <...> с этого дня началось восстановление моих отношений с родителями» (Дневник, запись от 6 апреля 1983 г.).

Но вот как этот же опыт отливается в идею предзаданного страдания Творца / Художника / Интеллекта в «тоталитарном социуме» (диалог между героем и врачом, рассказ в стихах «Экспертиза»):

- Стало быть, вы пишете стихи?
- Да, отмечен божию печатью – Те, кто ею тронуты, все тут.
- Ну, не все... Вы что-нибудь кончали?
- Да, Литературный институт.
- Издаетесь?
- Не было печали!
- Почему?
- Поэзия – судьба. А уменье свататься – наука. <...>
- Если вы поэт, то у вас обязан быть читатель. Вы ж пророк, несущий людям свет! <...>
- Если я угоден небесам, им видней, когда включить мой гений.

Итак, признание состоялось: все-таки – гений. Побитый же из ревности соперник представлен классическим интеллигентским Иудой – карьеристом, «удачником», в общем, тем, кто «продается» и «издается». Сама

больница, в которой оказался лирический герой, предстает близкой интеллигентскому сердцу метафорой холодной тоталитарной машины. Здесь Антонов рисует поистине фантазмагорическую картинку в стиле «Полета над гнездом кукушки». Соседи автора по палате открывают ему, идеалисту, глаза на жуткий советский строй, где все воруют, берут взятки, лгут и подхалимствуют, так что вор-рецидивист и людоед-маньяк кажутся на этом фоне такими неспорченными явлениями природы (Антонов воспроизводит здесь старый просветительский архетип «непросвещенного человека», «дикаря», свирепого и невинно-чистого, как дикое животное). Людоед так вообще оказывается старым фронтовиком, повествующим о невозможных в приглаженной официальной литературе ужасах войны (еще один устойчивый троп интеллигентских текстов: народ как носитель страдания и высшей правды).

Мы видим в текстах Антонова, таким образом, все классические интеллигентские идеологемы: самоидентификация в качестве Пророка / Гения / Жертвенного Агнца / Безумца; оппозиционность как нормальная позиция интеллектуала в обществе; противопоставление дикаря и интеллектуала как частный случай противопоставления природы и культуры; бессеребреничество и непогруженность в быт как качества «настоящего интеллигента» и т.п. [2]. Данные клише образуют специфический язык и специфическую ментальность русской – и ее наследницы советской – интеллигенции. Роль дискурса как силы конструирующей русскую / советскую интеллигенцию настолько велика, что, следуя за идеями Макса Вебера, Элвина Голднера, Антонио Грамши, Александра Кустарёва и др., интеллигенцию вообще можно определить не только как социальное, но и как дискурсивное сообщество; как «людей книги» – группу, выстраиваемую вокруг определенного корпуса текстов [3]. Канонический набор текстов русской интеллигенции хорошо известен и описан. В него попадают и Руссо с его «Исповедью», и Радищев с его «Путешествием из Петербурга в Москву», и Пушкин как «певец вольности» и «друг декабристов», и Толстой с «Войной и миром», и Тургенев с его Базаровым, и Чернышевский с мечтами Веры Павловны, и Чехов с доктором Дымовым, умершим при спасении больного ребенка. Но особое место в этом наборе текстов занимает, безусловно, А.И. Герцен [4], с его «Былым и думами» – гениальным сочинением, опережающим на столетие изобретенный Сержем Дубровским жанр «автофикш» [5]. Автофикш – это не автобиография и не литература с ее лирическим героем; это именно самосочинение себя, воплощаемое в жизнь, реально проживаемое. Позиция автора в сочинении жанра автофикш отличается от позиции автора в дневнике или лирического героя в автобиографическом романе. В сочинении жанра автофикш автор занимает позицию одновременно и действующего, и исследователя, аналитика, не являясь в полной мере ни тем, ни другим. Важный момент заключается

в том, что автор переходит к жанру автофикшн, как правило, будучи не вполне удовлетворен своим творчеством как художника или аналитика (как А. Герцен или С. Дубровский). Поиск нового жанра отражает творческий / исследовательский кризис, переживаемый автором в привычном для него направлении деятельности.

Вадим Антонов оказался не слишком талантливый (или удачливый) поэтом. Его произведения так и не дошли до широкой аудитории. Ему было трудно писать, твердо придерживаясь сюжета и соблюдая иные важные для литературы моменты, по причине периодически одолевающей его болезни. Со временем он все меньше и меньше пишет «литературу», и все больше и больше, практически постоянно пишет «себя», переходя к тотальному и непрерывному ведению «дневников». Он практически начинает жить в дневниковом пространстве и в «дневниковом формате». Дальнейшие записи в его дневниках представляют собой большей частью то, что принято называть «записной книжкой писателя», а не личным дневником: это поиски рифм и сюжетов, наброски, зарисовки с натуры. Такое чувство, что реальная жизнь занимает его все меньше. Еще при жизни он сам существует уже в значительной степени как текст. Можно было бы сказать, что, учитывая диагноз Антонова, все, что он пишет, не следует принимать всерьез и делать из этого далеко идущие выводы. Но одно важное обстоятельство удерживает меня от этого категорического заключения: интеллигентское сообщество, интеллигентское окружение Антонова явно не видело в нем – просто «безумца» (как и интеллигентское сообщество XIX века не видело просто «безумца» в Чаадаеве), сочувствовало его биографии «сидельца», принимало в его судьбе живейшее участие, пытались через личные связи помочь ему издаваться, а в самом этом сообществе подобные Антонову «странные» люди совсем не были редкостью (см. об этом запись в его Дневнике от 23 июля 1983 г.). Для интеллигентных знакомых своей семьи Вадим Антонов был «страдальцем», а «страдальцы» всегда играли роль консолидаторов для рыхлого русско-советского интеллигентского сообщества. В конце концов, как-то же оказались его бумаги в архиве Бремена, наряду с бумагами Ольги Ивинской, Бориса Аксельрода, Людмилы Алексеевой, семьи Зорких. Чья-то заботливая рука посчитала их достойными представлять некий важный спектр отечественной интеллигенции, и я думаю, что это совершенно справедливо.

#### Библиографический список

1. Черепанова, Р.С. Безумец в маске мудреца, мудрец под маскою безумца. Случай Петра Чаадаева / Р.С. Черепанова // Неприкосновенный запас. – 2009. – № 1 (63). – С. 74–88.
2. Черепанова, Р.С. Интеллигенция и «тайное знание» / Р.С. Черепанова // Неприкосновенный запас. – 2010. – № 1 (69). – С. 222–236.



3. Кустарёв, А. Нервные люди: Очерки об интеллигенции / А. Кустарёв. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 374 с.
4. Paperno, Irina. Stories of the Soviet experience: memoirs, diaries, dreams / I. Paperno. – Ithaca, N.Y.; London: Cornell University Press, 2009. – 285 p.
5. Левина-Паркер, М. Введение в самосочинение: Autofiction / М. Левина-Паркер // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 103. – С. 12–40.